„ДЕЛО ПАСТЕРНАКА"

1958
МЮНХЕН

Издательство Центрального Объединения Политических
Эмигрантов из СССР (Ц О П Э)

„ДЕЛО ПАСТЕРНАКА"

1958
МЮНХЕН

Издательство Центрального Объединения Политических
Эмигрантов из СССР (Ц О П Э)

Druck: Dr. P. Belej, München 13, Schleissheimer Str. 71.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Трагедия и надежда — от издательства 5

Борис Пастернак и его творчество 7

Хроника событий в связи с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии 28

Отклики из свободных стран 37

Отклики русских зарубежных писателей 64

Стихотворения Б. Пастернака к роману «Доктор Живаго» 78

ТРАГЕДИЯ И НАДЕЖДА

Дикая травля Бориса Пастернака, последовавшая за награждением его Нобелевской премией по литературе за 1958 год, придала этому событию значение мировой важности. И действительно, оно имеет большее значение, чем, например, объявление семилетнего плана или плана новой ломки народного образования.

Таких планов было не мало, они — лишь частность в сорокалетней борьбе диктатуры с народом, с жизнью нашей страны. История награждения и травли Пастернака — фокус, в котором концентрируется сущность этой борьбы. Трагедия Пастернака — это трагедия России, попавшей под власть современного мракобесия. И шире — трагедия всего мира, поставленного перед выбором: сохранить человека, как свободную личность, или, отдав под власть тоталитаризма, обречь его на бесконечное унижение и поругание.

«Дело Пастернака», обнаружив слабость современного мракобесия, его почти панику, показало нам и стойкость человеческого духа. Этим оно всем нам, «детям страшных лет России», внушает большую надежду, подкрепляет наши силы.

Учитывая это значение истории награждения Пастернака, наше издательство решило собрать в настоящей брошюре ряд материалов о ней. Главное внимание было обращено на отклики свободного мира, оставшиеся в Советском Союзе неизвестными, тогда как они выражают мнение людей с независимыми, свободными взглядами.

Собранным материалам предпосылаем краткий очерк, в первую очередь для советского читателя, на случай, если он не мог узнать о Борисе Пастернаке и его творчестве из других источников. С этой же целью в конце брошюры приводим стихи, составляющие, по замыслу Пастернака, часть романа «Доктор Живаго».

Мы не задавались целью дать сколько-нибудь исчерпывающие сведения по «делу Пастернака»: для этого потребовалось бы издание объемистого тома. Мы надеемся, что и собранное поможет пониманию этого события, а в будущем, может быть, и его изучению.

Издательство ЦОПЭ

БОРИС ПАСТЕРНАК И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Краткий очерк

1

23 октября 1958 года Шведская Академия присудила Нобелевскую премию по литературе за этот год русскому писателю Борису Леонидовичу Пастернаку. В постановлении Шведской Академии говорится, что премия присуждена ему «за важный вклад в современную лирическую поэзию и следование великим традициям русской литературы».

В истории мировой литературы Пастернак — второй русский писатель, получивший эту высокую награду. Первым был Иван Алексеевич Бунин: ему премия была присуждена в 1933 году. Бунина у нас дома долго не разрешали признавать; в официальных изданиях, — например, в энциклопедиях, — его неизменно называли «белогвардейцем», «врагом», «предателем народа» и т. д. Но вычеркнуть этого замечательного писателя из русской литературы никому не по силам и некоторые ранние произведения Бунина все же иногда издавались. После смерти, — И. А. Бунин умер в Париже в 1953 году, — он был до некоторой степени «реабилитирован»: его признали и выпустили несколько книг. Однако лучшие произведения Бунина, созданные им заграницей, у нас на родине пока так и не были изданы.

Во время травли Пастернака раздавались голоса, что Шведская Академия не объективна: в свое время, дескать, она не присудила Нобелевскую премию ни Толстому, ни Чехову. В связи с этим стоит напомнить, что Нобелевская премия присуждается только с 1901 года. Чехов, умерший в 1904 году, широкое признание заграницей получил позже, почему премия тогда ему и не могла быть присуждена. Толстой давно был всемирно известным писателем, — но он, в соответствии со своими убеждениями, решительно отклонил предложение выставить его кандидатуру на Нобелевскую премию.

После же Толстого, говоря по совести, у нас не было писателей, которые могли бы претендовать на эту премию. Вскоре после смерти Толстого началась первая мировая война, перешедшая у нас в революцию, — и наша литература довольно скоро была, как принято говорить, «поставлена на службу», сначала революции, потом «построению социализма», а практически — на службу руководству партии. Между тем Нобелевская премия присуждается за литературные произведения высокой художественной ценности, обычно трудно достижимой, если литературному творчеству ставятся узко-служебные задачи.

Стоит так же отметить, что в первое время Нобелевская премия не имела такого значения, как в последующие годы. Только примерно с 20-х годов эта премия означает безусловное международное признание получившего ее писателя. К сожалению, именно с этого времени нашу литературу стали все более связывать «принципом партийности», почему наши талантливые писатели 20-х годов все менее могли совершенствоваться и надеяться получить международное признание.

Поэтому присуждение Нобелевской премии Борису Пастернаку — для русской литературы событие первостепенной важности. То, что писателя заставили отказаться от этой премии, лишь подтверждает, что наша

литература продолжает оставаться в подчинении, если не говорить — в порабощении, у партийного руководства и должна попрежнему служить задачам и целям, которые ставит это руководство. Но то, что ей все же удалось, хотя бы на одном участке, преодолеть это порабощение, подняться над ним и завоевать международное признание — этот факт еще более важен. Он доказывает, что партийное порабощение не может быть полным, окончательным: на душу писателя, на его волю, на его творчество оков, в конце концов, наложить нельзя.

Писателя можно заставить, как говорится, «приспособиться к обстоятельствам», пойти на известные сделки, поступиться известными принципами. Одни это делают в большей мере, другие — в меньшей; есть и писатели, не знающие никаких мер. Пастернак тоже поступился: он вынужден был формально отказаться от международного признания, от Нобелевской премии, он в какой-то мере «признал свои ошибки». Но все это — область политики, второстепенная для человеческого общества. Духовно Пастернак, как показывает его творчество, пока на сделки со своей совестью писателя не шел. И в этом — победа русской литературы: она оказалась сильнее политических пут.

2

Борис Леонидович Пастернак родился в 1890 году. Отец его был известным художником, мать пианисткой, — с детских лет будущий поэт рос в среде художников, писателей, музыкантов. Семья Пастернака была близка семье Толстого: отец писателя делал иллюстрации к роману Толстого «Воскресение», который тогда печатался в журнале «Нива». Друзья семьи — художники Ге и Серов, композитор Скрябин, близкое знакомство с поэтами Андреем Белым, Мандельштамом, Хлеб-

никовым, Ходасевичем, Маяковским, Гумилевым и многими другими — вот та среда, в которой рос и складывался Борис Пастернак.

Он учился в Московском университете, затем в Марбургском университете в Германии, куда привело его увлечение философией.

Детство, отрочество и юность Пастернака протекали в годы, которые позднее получили название «серебряного века» русской культуры, в отличие от «золотого», пушкинского века. Это время обнимает примерно годы от конца прошлого столетия и до революции, прервавшей блестящий и во многих отношениях новый период развития русской культуры. Период этот остался не изученным: есть много работ, посвященных отдельным течениям нашей общественной мысли и художественного творчества того времени, но нет попыток подведения ему итогов. В нашей стране этого не допускает диктатура, заграницей — отсутствие родной почвы. В трудах высланных еще при Ленине или выехавших тогда заграницу философов и литераторов Франка, Бердяева, Лосского, Шестова, Лапшина, Федотова, Степуна, Зеньковского и других, работа русской мысли продолжалась, но их труды к нам на родину не допускаются.

Наш «серебряный век» замечателен тем, что в это время на верху русской мысли шел живой процесс пересмотра многих взглядов и освобождения от многих увлечений, владевших нашим обществом в особенности во второй половине прошлого века. Эти увлечения, в свое время оправданные различными причинами, — коммунистические «теоретики» их объединили, в большой мере облыжно и искусственно, в круг идей так называемой «русской революционной демократии», — мешали дальнейшему развитию русской жизни и ее оздоровлению, как связанные со многими предвзятыми, уже изжитыми представлениями. Это были поистине освободительные усилия, устранявшие наслоения предвзятых настроений. Октябрьский переворот прервал это

развитие русской мысли, отбросив ее снова в прошлое столетие и приведя к партийному закрепощению.

Пастернак, конечно, не мог остаться в стороне от идей и настроений, составлявших содержание «серебряного века» русской культуры. И ими оказался проникнутым, в частности, его роман «Доктор Живаго», с его обращением непосредственно к жизни, к человеку, а не к политическим оболочкам, облепляющим человека.

Творчество Пастернака — все «против течения», «поверх барьеров», как назван один из ранних сборников стихов Пастернака. Оно все обращается непосредственно к жизни, — но в его стихах и прозе до «Доктора Живаго» это обращение в большей мере оставалось как бы затушеванным, скрытым «высоким косноязычием», вихрем чувств, владевших поэтом, в котором, может быть, поэт и сам подчас был не в состоянии разобраться. И только в «Докторе Живаго» к писателю приходит эпическая ясность, позволившая ему почти пластически выпукло изобразить эти чувства, его отношение к действительности. Можно считать, что в «Докторе Живаго» и заключен тот итог исканиям русской мысли «серебряного века», который нам пока не удавалось подвести. Возможно, для этого надо было пройти через жесточайший опыт большевизма. И то, что Пастернаку удалось «подвести итог» — его огромная заслуга, как и главное достоинство (не говоря, понятно, о чисто художественном достоинстве) романа «Доктор Живаго».

Пастернак, разумеется, ни в коей мере не политический деятель и было бы большой ошибкой пытаться видеть в нем «вождя» или «знамя» какого-то «движения» в том виде, в каком привыкли представлять себе «вождей» и «движения». Он выше нынешней политики. То, что партийное руководство награждение Пастернака превратило в политическое событие, ничего не доказывает: в своем примитивном рвении к властвованию оно каждое движение жизни старается ополитизировать, — можно добавить, в конце концов на свою же голову.

против себя. И ему еще, возможно, придется горько пожалеть, что, вопреки очевидности, оно старалось превратить Пастернака в политическую фигуру.

Пастернак и не философ в общепринятом смысле. Он — только писатель. Но писатель в полном и высоком значении этого слова: не ремесленник и не приспособленец, выполняющий задания, скажем, партии, а человек, стоящий на гребне жизни, вместе с ней чувствующий каждое ее движение, вместе с ней взволнованный подъемами и падениями, — как бы мог он уберечься от ее волнения и не взволноваться сам? — и старающийся эти движения осмыслить и отобразить. Он не «тесно связан с жизнью», он не «живет в гуще» ее, как приятно говорить: он просто часть жизни, мятущаяся вместе с нею. Но часть, сохраняющая независимость мышления и способная эту «маяту» независимо оценить.

В одном из своих стихотворений он говорит: а разве я не мерюсь пятилеткой? По поводу одного сборника своих стихов, в другом месте, что ему было — «совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали». В этом весь Пастернак: жизнь, которую он, наделенный в высшей мере чувством непосредственного восприятия ее, воплощает в своих произведениях, больше и шире любых поэтических и политических концепций. Его творчество и есть сама жизнь.

3

«Серебряный век» наш был богат и разнообразен не одной глубиной и широтой мысли. В это время шли поиски новых форм художественного творчества: не удовлетворяясь больше привычным, добротным, но и порядком застарелым реализмом, новое время, новые мысли требовали для своего выражения новых форм.

В этих условиях возникло блестящее течение начала нынешнего века: русский символизм. Были и другие течения; было и увлечение особой изысканностью и утонченностью, подчас нездорового толка, — все это теперь у нас сваливается в одну кучу и окрещивается презрительным словом «декадентство». Слово это, конечно, как и многие другие ярлыки, наклеиваемые при коммунистической власти на наше прошлое, ни в коей мере не обозначает и не исчерпывает богатого содержания нашего «серебряного века».

Пастернак, с юношеских лет принимавший участие в литературных кружках (литературная группа «Центрофуга» — 1915 год, кружок «Лирика»), испытал влияние и символизма, и футуризма, — он и начал печататься в годы возникновения в русской литературе этого нового течения, футуризма. В те годы Пастернак целиком принадлежал к литературной молодежи левого толка.

Впоследствии в своей автобиографии он писал: «Молодежь левого склада была лишена чувства справедливости, скромности, благодарности. Все это считалось сентиментальностью. Полагалось важничать, красоваться, быть бесстыдным. Все это было отвратительно, но и я, вопреки самому себе, примыкал к этому движению, чтобы делать, как все».

Печататься Пастернак начал в 1913 году. В 1914 году вышел первый сборник его стихов — «Близнец в тучах». В 1917 году выходит второй сборник — «Поверх барьеров», переизданный в 1931 году. В том же, 1917 году, он составляет сборник «Сестра моя жизнь», который был издан только в 1922 году.

Пастернак встретил революцию уже сложившимся поэтом. Революцию он принял, может быть, по своему, по особому, но принял и никакого отрицания революции в его стихах того периода нет. Прямое подтверждение этому — его поэмы «Лейтенант Шмидт» и «Девятьсот пятый год», вышедшие в 1926-27 годах, в которых он

прославляет революцию и стремится осмыслить развитие исторических событий.

В 1925 году вышла книга его рассказов — «Воздушные пути», затем повесть «Детство Люверс»; в 1931 году — автобиографическая повесть «Охранная грамота». Пастернак говорит об этих произведениях, как о «поэтической прозе».

Среди записей Пастернака о тех, с кем он был «поэтически связан», он пишет о Блоке, о Райнер-Мария Рильке, о Маяковском, о Цветаевой. Блока Пастернак считает поэтическим вождем своего поколения: «С Блоком провели свою молодость я и часть моего поколения». «У Блока было все, что создает великого поэта», — пишет он в своем «Биографическом очерке», недавно вышедшем заграницей в переводе на иностранные языки.

Его дружба с Маяковским носила особый характер. Они часто ссорились и мирились. Пастернака в те годы привлекала ранняя лирика Маяковского-футуриста, горделивая, демоническая и обреченная. Но дар Маяковского он считал тяжелее и грубее, чем талант Есенина.

После Февральской революции, вернувшись в Москву, Пастернак при свидании с Маяковским сказал: «Как было бы хорошо, если бы он — Маяковский, — послал все это гласно к черту». Позже Маяковский несходство обоих лучших тогда поэтов России определил так: «Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге». Постепенно Пастернак охладел к Маяковскому, он не мог примириться с агитационным характером его поэзии. Но трагическое самоубийство Маяковского, поэта, ради временного «наступившего на горло собственной песне», глубоко потрясло Пастернака.

О Марине Цветаевой, о которой он тоже упоминает в биографическом очерке, Пастернак пишет, что он поздно «открыл» ее и очень ценил. Он считал, что ее ожидает «самое большое признание». Как известно, Ма-

рина Цветаева, незадолго перед войной вернувшаяся из эмиграции на родину, тоже покончила самоубийством, в 1941 году.

Большое поэтическое дарование Пастернака в двадцатые и тридцатые годы развивалось независимо от каких-либо формальных литературных течений. Уже в поэме «Волны» Пастернак говорит об «опыте больших поэтов», о «чертах естественности той». Его стихи приобретают более спокойный стиль, освобождаются от изобилия метафор, порой трудно расшифровываемых образов, не теряя при этом свежести и своеобразия.

В 1931 году выходит его поэма «Спекторский», в 1932 году — сборник его лирических стихов «Второе рождение». Пастернак в эти годы безусловно — первый из первых поэтов России. Но в это же время его стихи надолго исчезают из журналов. В 1934 и 1936 годах издаются сборники его стихов, — вместе с тем критики стараются замалчивать и эти книги, и вообще Пастернака: официальная критика считает его «неприемлемым» для советской литературы за «субъективизм», «усложненность образов и изощренность языка».

В эти, тридцатые годы усиленного зажима русской литературы, когда многие писатели были расстреляны, посланы в концлагеря или принуждены к молчанию, Пастернак обращается к переводам. Хорошо зная иностранные языки, Пастернак переводит «Фауста» Гёте, трагедии Шекспира «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Генрих Четвертый», «Антоний и Клеопатра», и Шиллера «Марию Стюарт». Эти блестящие по форме и по умению передать дух оригинала переводы — тоже большой вклад в русскую литературу. Кроме того, Пастернак переводит венгерского поэта Петефи и грузинских поэтов. Между прочим, не исключена возможность, что Сталин щадил Пастернака и ограждал его во время ежовщины от разгулявшихся литературно-чекистских заправил именно за прекрасные переводы поэтов родной Сталину Грузии.

В годы войны, в период кратковременного расцвета лирики, посвященной главным образом патриотическим темам, вышли два небольших сборника стихов Пастернака — «На ранних поездах» и «Земной простор». В 1945 году вышел сборник «Широкая земля». Этот сборник был выпущен большим тиражем, — тем не менее, он сразу разошелся.

После смерти Сталина, во время известной «оттепели», стихи Пастернака вновь появляются в журналах и таких изданиях, как «День поэзии» и «Литературная Москва». В 1956 году в журнале «Звезда» было напечатано несколько стихотворений Пастернака, с указанием, что они составляют часть романа «Доктор Живаго», который вскоре должен быть напечатан. Но роман этот так и не был издан в нашей стране: он появился только заграницей. А автор его, после присуждения ему Нобелевской премии, был подвергнут у нас дикой и позорной для ее организаторов травле.

4

Бориса Пастернака, бесспорно крупнейшего современного русского поэта, высоко ценили Брюсов, Мандельштам, Марина Цветаева. Творчество Пастернака Цветаева называла «световым ливнем»; она говорила, что после чтения его стихов «никто не захочет стреляться и никто не захочет расстреливать». Недавно умерший во Франции поэт Георгий Иванов, один из последних крупных представителей нашего «серебряного века», в статье о Мандельштаме писал, что на московском поэтическом Олимпе имя Мандельштама «ставилось, как равное, рядом с Пастернаком».

Официальная советская критика тоже отдавала должное поэту. Бухарин на первом съезде писателей, в 1934 году, называл Пастернака замечательным советским писателем. О Пастернаке и его творчестве в двад-

цатых и тридцатых годах писали в советских журналах Валерий Брюсов, И. Эренбург, В. Шкловский, Юрий Тынянов, Эльсберг, Николай Асеев и многие другие: мимо творчества Пастернака нельзя было пройти.

Но, как уже говорилось, с усилением партийного зажима русской литературы, официальная критика старалась все более отодвинуть Пастернака в тень, подчеркивая его «неприемлемость для советской литературы». На втором съезде писателей в 1954 году Сурков в своем докладе упомянул Пастернака, только как переводчика. Содокладчик Суркова Вургун заявил, что творчество Пастернака «не пользуется народным признанием». Но он же не мог не признать, что советские писатели считают Пастернака «мастером стиха».

Вот это вынужденное полупризнание и, вместе с тем, отрицание, желание затушевать значение поэта, характерны для отношения официальной советской критики к Пастернаку. Между тем, его собратья по перу не могли, конечно, не понимать значения Пастернака, как писателя и поэта. Примером такого понимания могут служить воспоминания известного советского драматурга А. Афиногенова, изданные в Москве в 1957 году. В них Афиногенов, бывший пролеткультовец и рапповец, пишет о Пастернаке, как о «большом и редком художнике слова», для которого «поэзия — содержание жизни».

Еще пример: немецкий журналист Герд Руге напечатал в 1958 году в сентябрьском номере берлинского журнала «Дер Монат» статью «В гостях у советских писателей». Он посетил Суркова, Эренбурга и Дудинцева. В беседе с Эренбургом Руге спросил его о Пастернаке. Эренбург, по словам Руге, ответил: «Пастернак — большой поэт и большой эгоцентрик. Он самый большой эгоцентрик, какого я знаю, но не неприятный. Он эгоцентричен, как ребенок, что не умаляет его достоинства, как поэта. Он один из крупнейших поэтов мира.

И проза его всегда поэтична, всегда несколько поднимается над землей, но и всегда велика, полна поэтических картин».

Эти отзывы даже, если можно так сказать, официальных недоброжелателей Пастернака, все же считающих его «крупнейшим поэтом современности», вполне объясняют, почему Шведская Академия присудила ему Нобелевскую премию по литературе. Премия была присуждена ему, именно как большому писателю нашего времени. Но это привело власть имущих в ярость. Они заявили, что премия была присуждена Пастернаку по политическим причинам, только за его роман «Доктор Живаго», который они считают антисоветским произведением. Они дошли до того, что заявили, что Пастернак заурядный писатель и что его роман «Доктор Живаго» написан плохо и лишен художественной ценности.

Этот роман был задуман Пастернаком еще во время войны. К нему Пастернак написал цикл стихов, принадлежащих якобы герою романа, доктору Юрию Андреевичу Живаго. Некоторые из стихов этого цикла были напечатаны в журнале «Знамя» в 1954 году.

Пастернак окончил писать роман «Доктор Живаго» более трех лет назад и передал рукопись редакции журнала «Новый мир» для печатания. Московское радио в 1956 и 1957 году сообщало о скором выходе этого романа в свет. Однако роман не появился. По слухам, его хотели как-то переделать, что-то в нем изменить, но никаких сообщений о судьбе романа не поялялось. И только уже после присуждения Пастернаку Нобелевской премии, 25 октября 1958 года в «Литературной газете» было опубликовано письмо редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку, подписанное Б. Агаповым, Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Симоновым (бывшим в 1956 году главным редактором журнала), с разбором романа и указанием причин, почему он был отклонен редколлегией. Основная причина отказа от печатания

содержится в фазе: «Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции». Однако нет уверенности, что это письмо было написано именно тогда, в 1956 году.

Пока рукопись романа была в редакции журнала «Новый мир», итальянский издатель-коммунист Фельтринелли обратился к Пастернаку с просьбой дать ему роман для перевода и издания заграницей. Полагая, по-видимому, что его роман будет напечатан в «Новом мире», Пастернак передал рукопись романа Фельтринелли и последний приступил к переводу и изданию «Доктора Живаго» в Италии.

Тем временем власти решили не допускать выхода романа в первоначальном виде. В связи с этим Гослитиздат летом 1957 года потребовал у Пастернака, чтобы он взял рукопись у издателя Фельтринелли для «внесения некоторых поправок». Фельтринелли отказался вернуть рукопись. На него произвели нажим через руководство итальянской компартии; специально для того, чтобы не допустить выпуска романа заграницей, в Италию к Фельтринелли ездил Сурков. Однако Фельтринелли, заявив, что роман уже находится в наборе, категорически отказался вернуть рукопись.

Роман «Доктор Живаго» впервые вышел на итальянском языке в Милане, 15 ноября 1957 года. В том же месяце вышло второе и третье издания: так велик оказался спрос на этот роман. Через некоторое время он появился на английском, французском, немецком, шведском и других языках; был он издан заграницей и на русском языке.

Так роман Пастернака «Доктор Живаго» в короткий срок разошелся по миру во многих изданиях и завоевал широкий круг читателей. Это — еще один триумф русской литературы.

5

«Доктор Живаго» — не политический роман, и в этом плане он резко выделяется из советской литературы. В сущности, он не имеет с ней ничего общего, так как он написан совсем в другом стиле, в другом ключе. Его тема — не тема какого-то «строительства» и даже не тема революции: он посвящен утверждению жизни, как самоцели, и человека, как свободного существа.

Это роман о жизни и назначении человека, рассказывающий историю трех поколений на фоне войн и революций. Отдельные лица и события проходят в нем в динамическом темпе, который Пастернак когда-то назвал «потоком дней». Его герой — свободная человеческая личность, проникнутая светом христианского учения. Он поборник правды, которую он ищет и находит в природе, в искусстве, в мудрости вселенной. Этим Пастернак продолжает великую традицию большой русской литературы.

Принадлежа к тому поколению русской молодежи, которая понимала социализм, как «море самобытности», доктор Живаго с восторгом встречает революцию. Но он понимает революцию не как стихию разрушения, а как внутреннее освобождение и обновление человека, без крови и насилия поднимающее его на вершины творческой жизни. Он приветствует мечту о справедливости, как торжество христианской идеи.

Живаго отрицает механическое понимание истории. Он воспринимает историю, как некий природный процесс: ее развитие подобно смене времен года, жизни леса. Он говорит: «Мы всегда застаем лес в неподвижности и в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю. Историю никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрож-

жи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как к святыне».

Доктор Живаго отрицает тех, кто считает, что они «делают историю», и кто ради собственных интересов пренебрегает правдой и истиной: «Люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине!»

Диктатура пролетариата, обернувшаяся голым насилием, отталкивает доктора Живаго от революции. «Я был настроен очень революционно, — говорит он, — а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром».

Живаго не контрреволюционер, он не хочет возврата к прошлому, но он не может примириться с насилием и злом, принесенным революцией и насажденным в ее ходе. И Живаго, а с ним другие главные герои романа, остаются вне революции. Она ломает их жизнь и им остается одно: попытаться уберечь и сохранить в ее вихре какие-то личные и, вместе с тем, вечные ценности.

Роман Пастернака ставит вопрос о судьбе творческой личности в революции, о глубоком противоречии между стихией революционного разрушения и правом человека думать, говорить и жить по-своему. Герой его романа не приемлет теории, сводящей все разнообразие жизни к первичным социальным и экономическим силам. Он обладает способностью воспринимать сразу все целое, понимать смысл происходящего, внутреннюю связь между отдельными событиями. И ему непонятен и смешен вожак красных партизан Ливерий, для которого, по словам Живаго, «интересы революции и существование солнечной системы — одно и то же».

Доктор Живаго творческая личность, сложившаяся в традиции свободной мысли. Он не может приносить в жертву революции своей духовной независимости. В вихре и вое революции он отстаивает свое «право на тишину» («Тишина — ты лучше из всего, что слышал»), ибо только в ней можно подслушать подлинный, незримый рост жизни. И он счастлив в деревенской глуши, в близости к природе, так как это для него — возврат к самому себе.

Он не может «приспособиться к эпохе», отказаться от своей творческой внутренней жизни — и в этом его трагедия. В дни, когда все резко разделено на две категории, когда могут быть только з а или п р о т и в — Живаго вне этих категорий. Он считает, что принадлежность человека к определенной категории есть отрицание человека, его конец и осуждение. Если человека нельзя внести в ту или иную категорию, считает доктор Живаго, значит, человек свободен, он жив, как человек, сохраняет свое лицо и этим выполняет свое задание на земле.

«И должен ни единой долькой
Не отступиться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца».

Доктор Живаго был и до конца остался живым человеком. В этом — глубокая связь автора этого произведения с величайшими творцами русской литературы, с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Чеховым, для которых жизнь, человек, а не внешние наслоения — высшая ценность.

Подобно лучшим представителям русской культуры, Пастернак проникнут чисто русским отвращением к позе, пошлости, рекламе, к подчинению человека «колдовской силе мертвой буквы». Его герою противны пустые, избитые фразы, пустозвонные лозунги, навязанные представления и слова как у красных, так и у белых. Он видит в них болезнь века.

«Поймите, поймите, наконец, — говорит доктор Живаго Ливерию, — что все это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать б», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти» — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу «а», а «б» не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее, мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к черту... Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этим не просит...»

Доктора Живаго пугает прогрессирующая болезнь времени — болезнь потери своего мнения, независимой мысли. «Главной бедой, корнем будущего зла, — говорит Живаго, — была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с чужого голоса и жить чужими навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом революционной... Это болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях.»

Уже между февральской революцией и октябрьским переворотом, когда Живаго еще страстно верил в революцию, он чувствовал надвигавшуюся опасность. Он говорил своим друзьям: «Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде, чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души».

Против «потери души» доктор Живаго боролся до конца и «болезнь века» не одолела его. В тяжелых испытаниях, в периоды горького отчаяния, потери близ-

ких ему людей и физических лишений доктор Живаго остается сам собой, сохраняет веру в человека, в правду Христа. Где начинается Христос, начинается понятие свободной человеческой личности, начинается человек. В тетради дяди Живаго Николая Николаевича Веденяпина написано:

«Рим был толкучкой заимствованых богов и завоеванных народов, давкой в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишек... Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах колизея и страдали. И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался Человек. Человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галлереям мира».

Вера в Христа, в правду Его учения, дает Живаго неисчерпаемый источник духовных сил. Он не перестает хотеть жить: «Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к совершенству, и достигать его». Он утверждает жизнь, как самоцель, говоря: «Человек рождается жить, а не готовиться к жизни». Его раздражают «вдохновители революции», топчущие жизнь ради какого-то символического будущего и чувствующие себя в революции, как в родной стихии.

«Всему есть мера, — говорит доктор Живаго. — За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха ради перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды это их самоцель».

Внешняя неприспособленность доктора Живаго и его нежелание приспособиться к жестоким условиям жизни могут создавать впечатление, что Живаго — слабый человек, этакий безвольный русский интеллигент. Но в этом мире более ценное может казаться более слабым. Но только казаться: доктор Живаго до конца остается самим собой, несмотря на всю обстановку, жестоко принуждавшую его к приспособлению. Он «сохранил свое лицо», сохранил себя, человека в себе — и это говорит о его величайшей стойкости и силе, а шире — о величайшей стойкости и силе жизни, которую никакое насилие в конце концов не может одолеть.

Во время НЭПа в Москве, в атмосфере «самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов», доктор Живаго чувствует себя чужим и одиноким. Его сердечная болезнь быстро прогрессирует, все чаще приходят приступы удушья. Он видит в них связь со своим нравственным состоянием. «Это болезнь новейшего времени, — говорит доктор Живаго. — Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка... Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказно...» Живаго умирает, не дожив и до сорока лет. Но и в гробу от лица его веет «свободой и беззаботностью».

Роман не кончается смертью героя. Заключительные страницы эпилога, — встречи друзей Живаго во время и после войны — потрясающи по своей силе и глубине. В них — видение надежды и человечности, будущего, в котором «свобода души уже пришла». Мудрая, светлая вера в человека, который в мире жестокой борьбы

находит следы правды, сохраняет свое человеческое сознание и этим утверждает жизнь, ставит роман Пастернака в ряды лучших произведений мировой литературы.

6

Вот этот роман, когда Пастернак был награжден Нобелевской премией, был назван партийным начальством лживым, пасквильным, антисоветским и т. д. А автора его попытались смешать с грязью и, как и героя его романа, называли «злобным обывателем», «свихнувшимся индивидуалистом» и другими такими же и худшими словечками.

Эта ругань, конечно, ни в коей мере не может затмить значения романа Пастернака. Эта ругань — именно только «политика», над которой роман Пастернака возвышается, как недосягаемая горная вершина.

«Коллективисты» злобно восстали против Пастернака, забывая, что «коллектив» может быть коллективом только живых свободных личностей, олицетворением которых и является доктор Живаго. Без свободы личности нет и «коллектива», общества: остается стадо, подхлестываемое погонщиками. Погонщики и восстали: они увидели в докторе Живаго, защищающем жизнь, покушение на свою власть над стадом, на свою роль «организаторов», устраивающих для людей тесные загоны, против которых всем своим существованием протестует герой романа Пастернака.

Повторяем: это все только область политики, вне которой травившие Пастернака остаются малыми и беспомощными людьми. Вероятно, многие из них даже и не понимают смысла и значения романа «Доктор Живаго»: он вне их узкой партийной психологии. Роман для них слишком высокая материя, книга за семью печатями. На это можно сказать только одно: тем хуже для них.

Шведская Академия иначе расценила творчество Пастернака. Нобелевская премия была присуждена ему после короткого заседания. Выступивший вслед за этим по радио генеральный секретарь Академии, известный шведский поэт Андерс Эстерлинг сказал, что Нобелевская премия присуждена Борису Пастернаку за его заслуги в современной поэзии и за блестящее продолжение великих традиций русской литературы, особенно проявившихся в последнем произведении, в «Докторе Живаго». Эстерлинг сравнил этот роман с романом Толстого «Война и мир» и подчеркнул, что премия присуждена Пастернаку не только за его роман, но что ознакомление с «Доктором Живаго» сыграло в выборе академиков решающую роль.

С 1901 года Нобелевская премия присуждается ежегодно выдающимся ученым, писателям и поборникам мира. В числе отмеченных этой премией — такие большие ученые, как Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг, И. Мечников, Макс Планк, Роберт Кох, И. Павлов, В. К. Рентген, Пауль Эрлих, Алексис Каррель, супруги Жолио-Кюри и другие. Среди писателей — Метерлинк, Гауптман, Томас Манн, Бернард Шоу, Киплинг, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор, Кнут Гамсун, Генрих Сенкевич, Эрнест Хемингуэй, Иван Бунин, Вильям Фолькнер, Альбер Камю и многие другие.

Имена этих ученых и писателей знает весь мир, ими по праву гордятся народы. Теперь к этим именам присоединилось и еще одно имя — Борис Пастернак, что не может не радовать каждого русского человека.

Факт присуждения Нобелевской премии Пастернаку, как и факт создания им романа «Доктор Живаго» — предмет славы и гордости России. Так это и расценивается во всем мире. А то, что эти факты иначе рассматривают нынешние самозванные правители России, насильники по своей природе и духу, величия России умалить не может.

ХРОНИКА

событий, связанных с присуждением Борису Пастернаку Нобелевской премии за 1958 год.

23 октября:

Шведская Академия присуждает Нобелевскую премию по литературе писателю Борису Пастернаку.

В этот же день вечером министр культуры СССР Михайлов сообщил представителю шведской коммунистической газеты «Ню Даг», что на следующий день правление Союза советских писателей решит, можно ли принять Пастернаку Нобелевскую премию и выехать за получением ее в Стокгольм.

Варшавское радио вечером сообщило о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Московское радио об этом промолчало, как и в следующие дни.

24 октября:

Пастернак отправляет Шведской Академии телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен», на английском языке. Шведская Академия получает ее во второй половине следующего дня.

Польская ассоциация писателей посылает Пастернаку поздравление. Поздравления в связи с

присуждением премии посылают Пастернаку писатели свободных стран.

25 октября:

Первая реакция правящих кругов: «Литературная газета» помещает редакционную статью под заголовком «Провокационная вылазка международной реакции». Команда дана: о Пастернаке говорится в этой статье, что он «выбрал путь позора и бесчестия». В этом же номере — письмо редколлегии журнала «Новый мир», почему роман «Доктор Живаго» не мог быть напечатан в этом журнале.

26 октября:

Газета «Правда» вышла со статьей Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Пастернак называется в ней «озлобленным обывателем», а роман «Доктор Живаго» — «политическим пасквилем».

28 октября:

ТАСС сообщает, что Пастернак исключен из Союза советских писателей — за «действия, несовместимые со званием советского писателя». Решение принято «единогласно» на собрании президиума правления Союза советских писателей, Бюро огкомитета союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей. Московское радио сообщило, что Пастернак исключен и из Союза переводчиков.

В провинции отделения писателей так же «с возмущением осуждают» Пастернака.

В свободных странах протестуют против поднятой в СССР травли писателя.

По сообщению иностранных корреспондентов, вечером в этот день Пастернак написал и сам отнес на телеграф слудующую телеграмму Шведской Академии: «Учитывая значение, которое было придано награждению меня премией в обществе, в котором я живу (или «к которому я принадлежу»: текст телеграммы написан по-французски и допускает два варианта перевода), я должен отказатся от присуждения мне этой незаслуженной награды. Не примите моего добровольного отказа с неудовольствием».

29 октября:

Шведская Академия сообщает о получении телеграммы об отказе Пастернака от Нобелевской премии.

В этот же день в Москве, на собрании по случаю 40-летия Комсомола, в присутствии 12 тысяч человек, включая «руководство» во главе с Хрущевым, первый секретарь ЦК Комсомола Семичастный в своем докладе выступает против Пастернака с мерзкими выпадами. Газета «Правда» не привела этого места доклада полностью, — приводим его по радио-записи:

«Паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым произведением. Он настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему, не считаясь, конечно, с художественным достоинством этой книжонки, Нобелевскую премию. Есть у наших мастеров слова произведения, которые являются бесспорными по своему художественному достоинству, но их авторы не были удостоены премии. А за клевету, за пасквиль против социалистического строя, против марксизма, Пастернак удостоен Нобелевской премии.

Пастернак прожил 41 год в социалистической стране. 41 год он питался хлебом и солью народа, который строил новое на обломках старого, который пережил холод, голод, поднял бывшую Россию к новой жизни, создал из бывшей России могущественное государство, которое потрясает умы всех прогрессивных людей и приводит в страх врагов социализма, народ, который прошел войны, разгромил фашистскую гидру. И этот человек жил в нашей среде и был лучше, конечно, обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Как это можно назвать? Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая-сякая и прочая. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, все люди, которые имеют дело с этим животным, знают особенности свиньи, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал.

А Пастернак — этот человек причисляет себя к лучшим представителям общества, — он это сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьим трудом он живет и дышит.

Я хотел бы высказать по этому вопросу свое мнение. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался. Я уверен, что общественность приветствовала бы это! Пусть он стал бы, пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай! Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему бы не

чинили, а, наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы для нас воздух . . .»

30 октября:

По всему Советскому Союзу проходит кампания «осуждения Пастернака». Среди осуждающих: Союз работников советской кинематографии, союзы писателей Украины, Грузии, Армении, Калмыцкой республики, Азербейджана, отделения союза писателей в Ленинграде и других областных городах.

31 октября:

По сообщению из Москвы, Московское отделение Союза писателей потребовало от правительства лишить «предателя Пастернака» советского гражданства и выслать его из Советского Союза.

1 ноября:

Московское радио передало текст письма, с которым Пастернак обратился к Хрущеву. Письмо датировано 31 октября, напечатано в «Правде» 2 ноября:

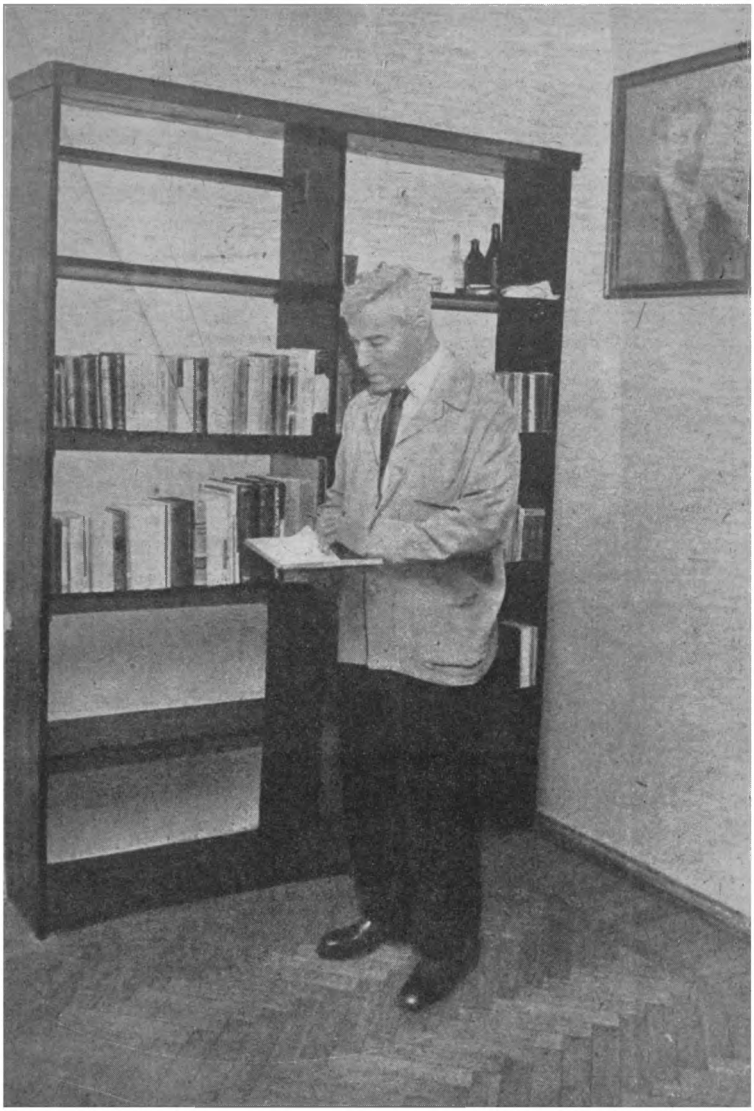
«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. Никите Сергеевичу Хрущеву.

Уважаемый Никита Сергеевич,

Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.



Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

Б. Пастернак».

Вслед за этим письмом радио передало такое заявление ТАСС, напечатанное в «Правде» 2 ноября после письма Пастернака:

«Заявление ТАСС.

В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б. Л. Пастернака товарищу Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б. Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б. Л. Пастернаку отказано в праве выезда заграницу, являются грубым вымыслом.

Как стало известно, Б. Л. Пастернак до настоящего времени не обращался ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу и что со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы.

В случае, если Б. Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении «Доктор Живаго», то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все «прелести капиталистического рая».

5 ноября:

Пастернак обращается в газету «Правда» со следующим письмом, напечатанным в этой газете 6 ноября:

«В редакцию газеты „Правда".

Я обращаюсь к редакции газеты «Правда» с просьбой опубликовать мое заявление.

Сделать это заставляет меня мое уважение к правде.

Как все происшедшее со мною было естественным следствием совершенных мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии.

Присуждение Нобелевской премии я воспринял, как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу.

Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например пять лет назад, когда моего романа еще не существовало.

По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа, и убедился, что это присужде-

ние шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствием, я, по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ.

В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня не мыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.

Но между мною и этой связью стали стеной препятствия, по моей собственной вине порожденные романом.

У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу.

Редакция «Нового мира» предупредила меня о том, что роман может быть понят, как произведение, направленное против Октярьской революции и основ советского строя. Я этого не сознавал, о чем сейчас сожалею.

В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию.

Мне ясно, что под такими утверждениями, доведенными до нелепости, я не в состоянии подписатся. Между тем мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему, в конце концов, я от премии отказался.

Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии (издания в других странах выпускались без моего ведома), вероятно, мне удалось бы хотя бы частично это поправить. Но книга напечатанна, и поздно об этом говорить.

В продолжении этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершаются добровольно. Люди, близко со мной знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал, и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают.

Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей.

Б. Пастернак».

После этого открытая травля Пастернака была прекращена.

ОТКЛИКИ ИЗ СВОБОДНЫХ СТРАН

Награждение Бориса Пастернака Нобелевской премией, а затем травля его правящими кругами в Советском Союзе, вызвала заграницей необычайно широкий отклик. Не было ни одной газеты и журнала, которые не сообщали бы об этих событиях; всюду были напечатаны обширные статьи о Пастернаке и его творчестве, приветствия по поводу его награждения, затем — статьи и отклики, выражавшие возмущенние травлей писателя. Это были редакционнные материалы, письма и обращения отдельных лиц и обращения писательских и других организаций.

Охватить весь этот материал нет, конечно, никакой физической возможности. Ниже мы помещаем приветствия и отклики только некоторых известных писателей свободного мира. Исключение мы сделали только для ряда выдержек из статей в газетах стран Азии.

Итальянский писатель Альберто Моравия, один из кандидатов на Нобелевскую премию в этом году:

«Я рад, что Нобелевскую премию этого года получил наиболее достойный из всех».

Датская писательница Каренн Бликсен-Финнеке, которая тоже была одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую премию, присоединилась к мнению Альберто Моравия.

Французский писатель Альбер Камю, лауреат Нобелевской премии за 1957 год:

«Это самый лучший выбор, какой только мог быть сделан. Я надеялся, что Пастернак получит

премию и радуюсь от всего сердца. Произведение, удостоенное этой награды, вызывает восхищение, а автор его — один из тех людей, быть современником которого большая честь».

После отказа Пастернака от премии, Альбер Камю заявил:

«Я не верю, что Пастернак добровольно отказался принять Нобелевскую премию. Я надеюсь, что этим я совершенно ясно выразил то, что думал . . . Я надеюсь, что советское правительство пересмотрит свое решение и поймет, что нет никакого смысла придавать политическое значение тому, что не имеет никакого отношения к политике. Эта великая книга ничего не дает какой-либо партии: она всемирна».

Французский писатель, также лауреат Нобелевской премии, Франсуа Мориак сказал:

«Книга Пастернака достойна восхищения. «Доктор Живаго», очень возможно, представляет собой самый значительный роман нашей эпохи. Я не думаю, что жюри по присуждению Нобелевских премий решило присудить ее Пастернаку из каких-либо политических соображений: книга сама по себе заслуживает награды. Тот факт, что советский писатель оказался признанным за пределами своей страны, как один из лучших писателей, уже что-то значит, — а это ускорит достижение понимания между двумя мирами».

Этот же писатель после начала травли Пастернака:

«Я принял эту новость с негодованием и надеюсь, что советское правительство пересмотрит свое решение, так как произведение Пастернака оказывает честь России на все времена».

Шведский писатель и секретарь Шведской Академии Андерс Эстерлинг:

«Роман «Доктор Живаго» выдвинул Пастернака на вершины мировой литературы. Нобелевская премия присуждена ему исключительно за его заслуги в литературе. О политике не было даже и речи».

Этот же писатель после отказа Пастернака от премии:

«За этим чувствуется человеческая трагедия, которая нас всех волнует. Когда члены жюри остановили свой выбор на Пастернаке, они руководились только соображениями литературного порядка. Происходящее в настоящее время не может повлиять на вынесенное нами решение, поэтому принципиальная ценность награды остается неизменной».

Французский писатель Андрэ Моруа:

«Роман «Доктор Живаго» написан в лучших традициях русской и европейской литературы и трудно было сделать лучший выбор в присуждении Нобелевской премии. Пастернак большой художник и его книга большое литературное достижение. Я счастлив, что вместе с другими могу поздравить его с наградой».

Этот же писатель во время травли Пастернака:

«Исключение Пастернака представляет собой нечто невероятное, заставляющее подниматься волосы на голове. Во-первых потому, что присуждение Шведской Академией премии обыкновенно считается за честь, во-вторых потому, что Пастернак не может нести ответственности за то, что выбор пал на него, наконец, потому, что произвол, который допустили советские писатели, лишь увеличивает пропасть между западной культурой и русской литературой. Было время,

когда такие великие писатели, как Толстой, Чехов, Достоевский совершенно справедливо гордились престижем, который они имели на Западе».

Американский писатель Говард Фаст, лауреат Сталинской премии, недавно порвавший с коммунизмом:

«Замечательный выбор. Пастернак исключительно большой писатель и его роман — замечательная книга».

Во время травли Пастернака:

«Мне кажется, что за все время, проведенное мною в Советском Союзе, не происходило ничего более позорного и гнусного, чем весь этот спектакль с Борисом Пастернаком».

Американская писательница Перл Бак, лауреат Нобелевской премии, о романе «Доктор Живаго»:

«Великое произведение великого писателя».

Во время травли:

«Я очень огорчена, что Пастернака вынудили отказаться от премии. Вся эта история показывает советское правительство в самом невыгодном свете».

Американский драматург Максвелл Андерсон послал телеграмму Пастернаку:

«Ваше произведение заслужило и продолжает заслуживать наивысшую похвалу».

Американский поэт Арчибальд Меклиш:

«Пастернак исключительно подходящий кандидат и мы можем благодарить Бога, что он получил Нобелевскую премию. Это замечательная награда одного из лучших, когда-либо существовавших».

Шведский писатель, академик Олоф Лагеркрантц:

«Пастернак — первый русский писатель, живущий в Советском Союзе, которому присуждена Нобелевская премия. Своим необыкновенным мужеством он выявляет лучшие стороны своего народа. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии должно воодушевить всех, кто в его произведениях слышит голос живых и свободных, — а таких в России, наверно, сотни и тысячи».

Американский писатель Ван Вик Брукс:

«Восхищаюсь гением и мужеством Бориса Пастернака».

Чилийский поэт Пабло Неруда, лауреат Сталинской премии:

«Я счастлив, что Нобелевская премия присуждена писателю из Советского Союза. Этим ставится точка международной дискриминации. Пастернак принадлежит к тем великим, которые создают мировую литературу».

Американская писательница Катрин Анна Портер, в послании Пастернаку:

«Дай Бог, чтобы Ваша родная страна чувствовала бы, как это чувствуем все мы, что мировая литература обогатилась таким замечательным произведением, как Ваш роман. Вы даете нам возможность надеяться на еще более великую и лучшую литературу. Примите мои наилучшие пожелания и уверения в моем восхищении».

Американский критик Альфред Казин, в связи с награждением Пастернака:

«Для нас Пастернак и его прекрасная книга — событие вовсе не политическое, а прежде всего литературное и духовное. Вся мощь русской ли-

тературы 19 века снова проявилась в этой книге и мы, люди западной культуры, которые столь многому научились у Толстого, Достоевского, Гоголя и Герцена, опять должны быть благодарны русской литературе. Для нас «Доктор Живаго» — не революционная книга, не книга на злобу дня: это произведение, затрагивающее самые глубины человеческой совести».

Канадский критик Андрэ Фонтэн:

«Поражает удивительная человечность и теплота романа. У Бориса Пастернака исключительный талант. В романе «Доктор Живаго» герои настолько живы и естественны, что прочтя книгу, хочется ее перечитать. Пастернак независимый художник и жил в стороне от борьбы. Но вполне возможно существование и более молодых Пастернаков в России, тем более, что влияние этого автора на советскую молодежь должно быть сильным».

Американская общественная деятельница Элеонора Рузвельт:

«Русские должны быть гордыми тем, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе».

Американский критик Эдмунд Уилсон:

«Шведы не могли сделать ничего лучшего, чем присудить премию Пастернаку. Пастернак заслуживает этой награды: он большой писатель».

Исландский писатель левого направления Халдор Лакснес, лауреат Нобелевской премии 1955 года, отправил Хрущеву следующую телеграмму:

«Ваше превосходительство, я обращаюсь к Вам с призывом, чтобы Вы, как глава правительства,

использовали свое влияние и ограничили нападки догматиков на старейшего из современных русских писателей, Бориса Пастернака, который заслуживает общего признания. Почему Вы хотите возбудить против СССР писателей, интеллигенцию, социалистов? Избавьте друзей Советского Союза от этого совершенно непонятного скандала».

Редакция лондонской газеты «Ньюс Кроникл» 27 октября отправила Хрущеву телеграмму с просьбой оградить Пастернака от преследования. По поводу этой телеграммы ряд английских писателей заявил следующее:

Дж. Б. Пристли: «Это очень хорошее послание и я полностью с ним согласен. Этот шаг советских писателей ужасен».

Юлиан Гексли: «Я полностью подписываюсь под вашей телеграммой, я просто пришел в ужас, услышав о его исключении. «Доктор Живаго» — очень большое произведение».

Аллан Герберт: «Я присоединяюсь от всего сердца к вашей телеграмме. Мне было бы еще приятней, если бы это было высказано в более резкой форме».

Стефан Спендер: «Исключение Пастернака — позор для цивилизации. Это означает, что он в опасности. Его надо защитить».

Английские писатели, философы, ученые: Т. С. Эллиот, Бертран Рассел, — оба лауреаты Нобелевской премии, — Грахам Грин, Олдус Гексли, Сомерсет Могэм, Дж. Б. Пристли, Е. М. Форстер, С. П. Шоу, Ребекка Уэст, Л. М. Боур, Райт-Джонсон, Роза Моколэй, Герберт Рэд, Стефан Спендер 29 октября отправили председателю Союза советских писателей следующее письмо:

«Мы глубоко взволнованы судьбой одного из самых больших поэтов мира Бориса Пастернака. Мы рассматриваем его роман «Доктор Живаго» как волнующий человеческий документ, а отнюдь не как политическое произведение. Мы обращаемся к вам во имя великой русской литературной традиции, которую вы представляете, чтобы вы ее не порочили, преследуя писателя, высоко чтимого всем цивилизованным миром».

Американский Комитет защиты свободы культуры, объединяющий более трехсот писателей, художников, артистов, — в этот Комитет входят такие писатели, как Джон Стейнбек, Тортон Уильдер и другие, — 30 октября выступил с обращением, из которого приводим две выдержки:

Объединенные в общей борьбе со всякого вида тоталитаризмом, вторгающимся в сферу свободного мышления и творчества, мы поздравляем советского писателя Бориса Пастернака по случаю присуждения ему Нобелевской премии. Мы выражаем нашу готовность горячо поддержать его в благородной борьбе за свободу мышления, за свободу духа... Повсюду в демократическом мире общественное мнение возмущено той подлой кампанией клеветы и опорочения, которой подвергся Борис Пастернак, лауреат Нобелевской премии, в его собственной стране».

Французский писатель Жюль Ромэн:

«Я готов протестовать, но я уверен, что это беспредметно, так как люди, которые могут вести себя так, как они вели себя в Венгрии, вряд ли обратят внимание на такую мелочь, как мой протест».

Английский философ Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии:

«Я не могу скрыть своего отвращения по поводу того, что советское руководство пошло по такому пути. Может быть, Пастернак отказался от Нобелевской премии добровольно, однако очевидно, что добровольность эта лишь номинальная. Слишком уж грязная работа».

Шведский писатель Пер Вестберг:

«Отказ Пастернака от премии — наказание его за мужество не лгать. Это говорит о том, в каком положении в действительности находится Пастернак. Единственное во всем этом положительное — то, что его произведение выросло в значительно большую силу, чем это многие предполагали».

Французский писатель Андрэ Шамсон:

«То, что случилось — ужасно и мы еще не можем судить обо всех последствиях этого события. Я всегда считал Пастернака самым выдающимся из современных русских поэтов. Его роман еще увеличивает его славу».

Французский писатель и ученый Жорж Дюамель:

«Исключая Пастернака из своих рядов, советские писатели еще раз показали, что они отказались от той подлиннной свободы, которая делает труд писателя великим».

Шведский писатель, активный член «Всемирного совета мира» Ивар Харри обратился к Илье Эренбургу с открытым письмом. В нем он пишет, что награждение Пастернака заслуженной им Нобелевской премией превратилось в трагедию.

Бразильский писатель, лауреат Сталинской премии Ж. Амаду:

«Исключение Пастернака из Союза советских писателей доказывает, что сектантские и догматические элементы все еще доминируют в Советском Союзе; они еще пытаются связать литературное творчество и навязать единую школу мышления, — точно также, как было в сталинский период. Литература и искусство не могут развиваться без наличия различных школ мышления».

Левый бразильский писатель Анибаль Мичадо:

«Дело Пастернака останется в памяти людей, как позорный для человеческого достоинства эпизод, как случай, вызывающий у всех чувство грусти».

Бразильский писатель Эмилиано ди Кавальканти:

«Я поклонник Советского Союза. Именно поэтому я поражен отсутствием умственного чутья у Союза советских писателей и Союза переводчиков, которые выступили против Пастернака».

Бразильский поэт Мануэль Бендейра, член бразильской Академии литературы:

«Преследование Пастернака говорит о том фанатизме, который царит в Советском Союзе».

Японский писатель Таками Джун:

высоко ценя творчество Пастернака, сказал, что его вклад в литературу не может быть скрыт «клеветой и оскорблениями, которыми осыпают его ограниченные в своем мышлении его товарищи по перу».

Итальянский писатель Джиованни Баттиста Анджиолетти:

«Как писатель, высоко ценящий произведение Бориса Пастернака, я не могу не быть поражен-

ным и угнетенным той позицией, которую Союз советских писателей занял по отношению к одному из своих членов».

Японский писатель Татцуцо Исикава, председатель Союза писателей Японии:

выразив сожаление по поводу исключения Пастернака из Союза писателей, заявил: «Но я этим решением не удивлен. Ведь Союз советских писателей не представляет собой независимой организации и должен служить интересам правительства. Это не то, что наши союзы».

Саллан Арвидсон, председатель объединения писателей Швеции:

«Надо полагать, Шведская Академия предвидела комментарии западной печати, однако, она имела доверие к советскому обществу. Каждый писатель имеет право критиковать то, что происходило или происходит в его стране. Он может ждать критику своей критики, а не репрессий».

Шведская писательница и художница Молли Фаустман:

«Нам кажется почти невероятным, что в какой-либо стране можно подавлять свободу слова. Трудно представить более отвратительную пропаганду для нации, чем та, которую делают эти советские джентльмены».

Ганс Гайберг, председатель левого крыла Союза норвежских писателей:

«Это просто позор, что Союз советских писателей исключил Бориса Пастернака. Писатели всего мира с напряженнной озабоченностью следят за происходящим в советском мире, где уязвленный престиж большой политической силы счел пра-

вильным проявить себя тем, что пошел на «литературное убийство», которое войдет в историю мировой литературы».

Шведский писатель Эйвинд Йонсон:

«Это ужасная история. Странно, что Союз советских писателей исключил его теперь, спустя три года после того, как он написал «Доктора Живаго». Нобелевская премия была присуждена ему за лирические и прозаические произведения, чтобы они ни говорили. И они же сами считали его одним из самих больших своих поэтов».

Шведский поэт Эрик Линдегрен:

«Когда слушаешь членов Союза советских писателей, этих марионеток, которых совершенно открыто дергают за шнурок, чтобы они плясали, когда видишь, как они единодушно, однообразно, лицемерно, немужественно, неженственно и несказанно безобразно выражают свое осуждение, невольно хочется пожелать одного: увидеть их всех летящими на луну, вместо межпланетных лаек, в следующей ракете».

Шведский писатель и художник Стеллан Мернер:

«Темнота всех саванов опустилась на наши головы. Ни один художник не может жить и творить, не зная, что то, что он считает своей миссией, упадет на плодородную почву, что его произведение будет рассматриваться, как продукт доброй воли. От имени всех нас я огорчен историей с Пастернаком».

Английская писательница Сторм Джемсон, председательница международного объединения ПЭН-клуба:

«Это ужасно. Самая большая правда заключается в том, что Пастернак единственный гениаль-

ный русский писатель — и что они с ним делают!»

Швейцарский писатель Эмиль Арнольд, бывший коммунист:

«Я протестую против этого вульгарного унижения писателя. Литературные цензоры, выступающие в качестве аппаратчиков государственной бюрократии, поносят человека только за то, что он стоит не на той платформе, на которой стоят они. Борис Пастернак никогда не был марксистом-социалистом, как мы, но он сам заявил, что он русский и не может быть отделен от своего народа, от своей родины».

Французский писатель Луи Мартен-Шоффье:

«Советская реакция, которую ничем нельзя оправдать, обескураживающа и мучительна».

Норвежский писатель Рагнар Форбех, лауреат ленинской премии:

«Если бы я обладал каким-нибудь влиянием, я просил бы советское правительство дать Пастернаку возможность получить Нобелевскую премию, приехать для этого в Стокгольм и потом вернуться в страну, которую, по его словам, он так любит. Я просил бы проявить терпимость и доброту в интересах мира, в интересах той работы, которая ведется, чтобы способствовать миру и развитию дружбы между народами».

Шведский писатель Артур Лундквист, леуреат Ленинской премии 1958 года:

«Я решительно протестую против фантастических обвинений, предъявляемых Борису Пастернаку».

Шведский поэт Гарри Маттисон:

«Поведение советского правительства — верх бесстыдства!»

Студенты и преподаватели Иельского университета (США) на общем собрании приняли резолюцию-письмо и отправили ее Хрущеву. В этом письме они в частности заявляют:

«Мы просим Вас ходатайствовать о том, чтобы Пастернак вместе с другими советскими лауреатами Нобелевской премии поехал в Стокгольм, где он будет чествован всем миром; чтобы, по возвращении, Пастернак был тепло встречен советским правительством и народом и продолжал свое творчество на родине, где он черпает свое вдохновение и которой он принес такую славу».

Канадский писатель Лорандо:

«Это целое событие. Конечно, трудно высказать все чувства, пробуждаемые этим романом, но я думаю, что два слова объясняют все: величие и человечность. Тот факт, что Пастернак при создавшихся обстоятельствах был вынужден отказаться от Нобелевской премии, у каждого из нас вызывает чувство оскорбления. Я могу сказать о реакции рядовых канадцев, не литературных критиков: они нашли в романе глубокую человечность».

Вице-президент Индийской республики др. Сарвапалли Садхакришнан, председатель Всеиндийского центра ПЭН-клуба, послал Союзу советских писателей следующую телеграмму:

«Индийский центр ПЭН глубоко потрясен известием об исключении Пастернака. Огорчен его отказом от премии. В его лице оказана честь советской литературе. Призываем вас уважать

свободу писателя и отнестись к Пастернаку по-братски».

Писатели индийского штата Керала, находящегося под управлением коммунистов, обратились к Неру, как председателю индийской Академии наук, с просьбой пригласить Пастернака в Индию. Они заявили, что «верят в свободу писателей и в право интеллигенции на творчество и на свободное распространение истины».

28 писателей Австрии опубликовали следующее обращение:

«Мы, австрийские писатели, приветствуем своего великого русского товарища по перу Бориса Пастернака в часы его одиночества, на которые осудил его террор правителей его страны против интеллигенции. Мы протестуем против ограничения личной и творческой свободы пользующегося мировой известностью писателя, только что удостоенного Нобелевской премии. Мы призываем всех деятелей искусства, ученых и культурные организации Запада присоединиться к нашему протесту и поставить условием будущих контактов с советскими деятелями искусства и учеными полную реабилитацию Бориса Пастернака, как гражданина и писателя».

Ассоциация датских писателей направила протест Союзу советских писателей. В протесте говорится, что советские писатели «поддались политическим соображениям, критикуя безусловно заслуженную их товарищем награду».

Французский «Союз писателей правды» в письме Союзу советских писателей протестовал против «оскорбительных и необоснованых обвинений Бориса Пастернака».

Ассоциация голландских писателей обратилась к советскому правительству с телеграмой, призывая сделать получение Нобелевской премии возможным для Пастернака.

Заместитель председателя Академии Непала Балчандра Шарма обратился к советским писателям с просьбой пересмотреть их решение считать Пастернака «изменником». Шарма считает преследование Пастернака агрессивным и ограничивающим личную свободу писателя, пользующегося уважением во всем мире.

Ассоциация писателей Непала на митинге протеста против преследования Пастернака выразила надежду, что принятые против него меры будут отменены.

Международный центр ПЭН-клуба в Париже послал Союзу советских писателей телеграмму, подписанную председателем центра Андрэ Шансоном и секретарем Давидом Карвеном:

> «Международный ПЭН-клуб взволнован сообщениями относительно Пастернака и просит вас защитить поэта, во имя свободы сохраняя свободные условия творчества. Писатели всего мира братски думают о нем».

Союз писателей Швеции послал Союзу советских писателей письмо с просьбой к советским коллегам изменить свое отношение к присуждению Нобелевской премии Пастернаку и позаботиться о том, чтобы Пастернак мог приехать в Стокгольм для получения премии. В письме говорится: «Шведская Академия присудила Пастернаку премию, чествуя его литературные заслуги».

В Югославии, сохраняющей в известной мере свободу мнения, писатели так же выступали с протестом

против травли Пастернака. Наиболее показательно, может быть, отношение молодежи. В югославском журнале для молодежи «Водечи», в ноябрьском номере, напечатано письмо Милоша Стамболича; приводим из него выдержки:

«Защитите Пастернака.

Письмо советскому современнику.

Я обращаюсь к вам, как к моей последней надежде, хотя и не знаю, аплодировали ли вы «от всего сердца» пресловутому Семичастному, когда он истерически плевал в лицо человеку и писателю Борису Пастернаку... Я сожалею, что голоса моего советского современника давно уже не слышно из-под сталинской пирамиды...

Я призываю советского друга разобраться в таких вопросах: зачем нужно советскому народу искать воображаемых врагов? И можно ли допускать, чтобы с высокопорядочными, честными людьми обращались, как с сорной травой? Допустимо ли аплодировать примитивной, грубой брани по адресу писателя, потому, что его похвалили за подлинное литературное произведение иностранные критики? Допустимо ли, чтобы его за это называли «изменником», «врагом», «свиньей» ?..

Ведь это же возвращение к произволу сталинского времени. Достаточно было повешено людей от Праги до Будапешта, от Софии до Москвы! Я не обвиняю вас в этом. Но если вы, мой советский современник, присоединяетесь теперь к аплодирующим, то тогда, действительно, можно ждать, что завтра люди снова начнут качаться на виселицах. Как долго будете вы довольствоваться ролью пассивного наблюдателя, а то и соучастника, неправых и жестоких дел? Разве, выступив в защиту Бориса Пастернака против тех, кто его травит, вы не выступите тем самым на защиту своего собственного человеческого достоинства ?..»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕЧАТИ СТРАН АЗИИ

Индия

Газета «Таймс оф Индия», 4 ноября:

«Какой позор! Неужели нельзя было оставить в покое пожилого человека, который вновь окрылил русскую литературу? До какого же предела доведено унижение поэта, все преступление которого заключается лишь в том, что он посмел прервать свое молчание и поведать свету о скорби, выношенной им в сердце и затаенной годами? Что можем сказать мы о хаме, осмелившемся в присутствии 12.000 человек сказать, что Борис Пастернак «хуже свиньи, так как он гадит там, где он ест и живет, чего свиньи не делают!» Мы можем лишь закрыть себе руками лицо от стыда. Позор ложится не на молодежь, которую нельзя винить за малокультурность и нечувствительность к поэзии, а на грубость того общества, в котором такие непристойности не только допускаются, но еще и передаются по телевидению. Ужас положения заключается не в брани борзописца, а в молчании тех, которые отдают себе отчет в истинном положении вещей, но не смеют выступить в защиту Бориса Пастернака.

Возможно, что произведение Пастернака и было использовано некоторыми в целях пропаганды холодной войны. Но ведь также был использован и секретный доклад Хрущева. Почему же, в таком случае, обвинять в клевете одного Пастернака? Ответ может быть только один: потому что обвинители Пастернака — трусы! Хрущев может ответить ударом на удар — Пастернак не может. Поэт слишком слаб, он беззащитен. И он слишком честен, чтобы отрекаться от своих мыслей, или искажать их, когда ему грозит опасность.

Должны ли мы верить, что новый человек, созданный якобы социалистическим обществом, не имеет сомнений и не знает колебаний? Что отчаяние ему недо-

ступно? Должны ли все душевные переживания нового человека точно соответствовать «кривой» выработки стали? Или новый человек не должен иметь понятия о сложности и конфликтах человеческой судьбы; о том, что любовь может перейти в ненависть, и что человек может достигать иногда результатов, диаметрально противоположных тем, которые он хотел достичь? Должны ли мы считать гидрой каждого, кто не хочет поклоняться будущему, зная, что «настоящее есть будущее прошлого»?

С точки зрения интеллектуальных кругов, позор заключается не в том, что некоторые фанатики захотели выбросить Пастернака из страны, к которой он так привязан, а в том, что этого добиваются литературные критики! Клеветник не Пастернак. Клеветники те так называемые «литературные критики», которые в прошлом молчаливо одобрили убийство ряда своих собратьев по перу, не высказав ни слова протеста против расправы с ними. Вот кто теперь клевещет на Пастернака... Как могло случиться, что после 40 лет социализма Пастернак не смог освободиться от «язвы» мелкобуржуазных предрассудков? Почему, в таком случае, не приписать все ужасы тридцатых годов «мелкобуржуазным предрассудкам» Сталина? Уж лучше бы критики молчали, если они не могут говорить правды. Это было бы честнее.

В пылу шумихи, поднятой вокруг «Доктора Живаго», многие забыли, что Пастернак прежде всего поэт. Они, повидимому, не заметили самого главного в произведении Пастернака — его возврата, перед лицом нынешней ненависти и жестокости в отношениях между людьми, к христианским духовным ценностям. Подобный же смысл в свои произведения могли бы вложить и Толстой и Ганди, если бы они жили в советском обществе и писали о катастрофических событиях 1917 и последующих годов. Говорить о свиньях, или о псах, или о шимпанзе (Гадаев однажды назвал творчество Т. С.

Эллиота творчеством шимпанзе) — это значит унижать человеческую речь, это значит нарушать самые элементарные правила человеческого поведения ...

Пастернак стремился быть верным самому себе, хотя он знал, что это может быть для него опасным. Все ли писатели смогут это сказать о себе?»

Газета «Трибюн оф Амбала», 4 ноября:

«Представители старой русской интеллигенции молча страдали при Сталине и с ужасом наблюдали постепенное закрепощение русского духа и русского мышления. Они, однако, несколько воспряли духом, когда началось движение «десталинизации» в стране и послесталинское руководство начало некоторую либерализацию режима.

Коммунистическое руководство вскоре было серьезно напугано тем, что новая советская интеллигенция и писатели стали подвергать сомнению коммунистические догмы, начали критиковать тупой бездушный советский бюрократизм и призывать к чему-то новому. Беспокойство советского коммунистического руководства еще усилилось, когда «брожение умов» перекинулось и в студенческую среду.

Партия начала обвинять писателей в том, что они уклоняются от «социалистического реализма», то-есть от прославления коммунистического режима и превознощения марксистско-ленинских ценностей. Тех писателей, которые начали писать правду и старались быть ей верными, власть начала обвинять в индивидуализме, нигилизме, анархизме, субъективизме и прочих смертных грехах. Коммунистическое руководство приходило в бешенство, когда писатель изображал недостатки безличного, бездушного, бессмысленного бюрократического государства, построенного коммунистами, если он призывал к развитию чувства достоинства человека и к уважению личности.

Коммунистическое руководство теперь снова в бешенстве, потому что нашелся еще писатель, который остался верен своему мировоззрению и описывает Россию такой, какой он ее видит, отметая политические соображения и оставаясь верным художественному восприятию действительности.

Многие представители русской интеллигенции с трудом могут примириться с системой, которая не признает ценности индивидуума и попирает чувства и стремления личности. Творческий писатель не может быть искренне приверженным политической системе, которая категорически отрицает право личности на свободное устройство своей жизни и которая требует от индивидуума признания того, что его высшим долгом является подчинение правящей партии и созданной ею бюрократии.

Эпизод с Пастернаком пролил яркий свет на слабость тоталитарной системы. Он показал, что в тоталитарном государстве нет места для творческой литературы, что писатель там может «творить» только в том случае, если он целиком отождествит себя с интересами правящей касты и того социального строя, который эта каста создала.

Письмо, которое Пастернак направил Хрущеву, показывает, какой страх режим еще внушает русской интеллигенции. Режим этот терпит только льстецов и подхалимов. Нынешние руководители менее круты в своих методах обращения с интеллигенцией, но они не менее нетерпимы по отношению к независимым мыслителям и творческим художникам.

Мы видим в Советском Союзе резкий контраст, контраст между экономическими и научными достижениями и убогостью в сфере духовного творчестава, в области духовной жизни. Русский искусственный спутник земли является большим достижением, но таким же достижением является и роман Пастернака «Доктор

Живаго». Почему же советская власть гордится первым и презирает второго? Почему она награждает ученых и одергивает писателей?

Советский Союз может догнать свободный мир и даже достичь замечательных успехов в области производства материальных благ и научных исследований. Но свободный мир переживет все тоталитарные режимы и деспотические системы, потому что его культура и цивилизация основаны на моральных ценностях и жизнь в свободном мире поэтому бесконечно выше и богаче жизни при тоталитаризме».

Газета «Ананда Базар Патрика», выходящая на бенгальском языке, 3 и 4 ноября:

«Еще и сегодня в СССР положение таково, что достаточно власть имущим нахмурить брови, чтобы все затрепетало и слова застыли на устах, если они хоть на иоту неприятны правителям. А администрация в этой стране всячески мешает естественному развитию искусства и литературы. Однако, поразителен тот факт, что через сорок лет после установления советской власти режим еще недостаточно окреп для того, чтобы выдержать самую легкую критику!

В своем романе Пастернак критикует советское общество и советский режим. Это все, что он сделал, но этого достаточно было для того, чтобы вызвать ярость советского руководства, которое не переносит критики. В результате началась дикая травля писателя-критика. Это было выше сил Пастернака. В предыдущие годы было ликвидировано не мало крупных и талантливых писателей, которые накликали на себя гнев советских правителей своей неосторожностью.

Помня участь этих людей и опасаясь за свою судьбу, Пастернак отклонил премию, которую он сначала с радостью принял. Таким образом писатель должен был отказаться от награды, так высоко ценимой в литературном мире.

Совершенно ясно, что то, что Пастернак описал в своей книге, он описал совершенно искренне, а не по чьему-нибудь наущению. Если бы его побуждала ненависть, он, подобно многим другим, эмигрировал бы в чужую страну, и писал бы там. Никому в здравом уме не могло бы придти в голову оставаться в Советском Союзе и вести пропаганду против режима. Поэтому он описал в своей книге то, что он видел своим артистическим глазом. И описал он это в интересах своей страны, которую он так сильно любит».

Газета «Локсатта», выходящая в Бомбее на маратхском языке, 4 ноября:

«Взаимоотношение между литературой и общественной жизнью с давних времен было объектом спора. Спор этот теперь принял новый оборот. Причины, побудившие русского писателя Бориса Пастернака отказаться от Нобелевской премии, бросают яркий свет на истинную сущность коллективизма . . .

Одну сторону в споре представляет колоссальная политическая сила. И все мыслящее человечество внимательно следит за этим спором. Случай с Пастернаком лучше всего иллюстрирует борьбу этих двух начал — искусства и политической власти. Разве писатель не свободен следовать велениям своего сердца и выражать то, что ему подсказывает совесть? Как раз эта проблема ярко освещена в случае с Пастернаком. Эта проблема не нова. Она возникала неоднократно после русской революции, когда не одному писателю, поэту и философу пришлось пострадать.

Анализируя законы общественного развития в своих экономических трудах, Маркс учил, что отражением экономических процессов в обществе является культура, а культура выражается в литературе, искусстве, этике, философии. Именно эта теория раздавила Пастернака. Власть рабочего класса считается наиболее прогрессивной формой «отражения» экономических

процессов в обществе. Всякая литература, которая не «отражает» этой власти правильным (то-есть угодным для руководителей) образом, считается «реакционной» и «антиобщественной». И автор, создающий такую литературу, не только не подлежит награде, но наоборот — он подлежит наказанию».

Газета «Праджавани», выходящая в Бангалоре на каннарском языке:

«Акция против Пастернака на самом деле направлена на то, чтобы сломить сопротивление писателей, чтобы окончательно лишить их свободы. Политическая власть уничтожила свободу писателя. Это большой удар по чистоте и свободе литературы. Долг защитников свободы мышления заключается в том, чтобы выступать с протестом всегда, когда проявляются такие тенденции . . .»

Газета «Фри Пресс Джорнал», выходящая в Бомбее:

«В подражание лучшим традициям сталинской нетерпимости Борис Пастернак «вычищен» из Союза советских писателей . . . Спустя 41 год после октябрьской революции советское государство боится критики своих достижений и рассматривает, как угрозу своей безопасности, «ничтожное» произведение «ничтожного» автора! Воистину, над этим следовало бы призадуматься теоретикам социалистического общества!».

Газета «Динамани», выходящая на тамильском языке в Мадрасе:

«Этот случай показал всему миру, что писатель в России все еще не имеет права писать то, что не по вкусу правителям».

Цейлон

Газета «Динамина», издающаяся на сингалезском языке:

«В условиях тоталитарного режима нет места ни критике, ни комментированию. Критика рассматривается, как измена. Остается только одно: следовать высочайшим повелениям, как буйволы следуют поводырю . . .»

Индонезия

Газета «Таймс оф Индонезия»:

«В то время, как во всем мире Пастернака восхваляют, как корифея современной литературы, в своей собственной стране он не нашел признания . . .»

Тайланд

Газета «Занзери», издающаяся в Бангкоке:

«Потому, что русский писатель осмелился написать правду и поведать ее миру, его исключили из Союза советских писателей . . . Пример с Пастернаком является убедительным доказательством того, что в Советском Союзе не знают, что такое свобода. Книга Пастернака разоблачает давление и насилие над чувствами и мыслями русского народа и ту жестокость, с которой советское правительство обращается с русским народом. Это доказывается тем фактом, что русские люди не имеют даже права видеть. Человек, например, видит птицу, а ему приказывают говорить, что он видит змею».

Сингапур

Газета «Страйтс Таймс»:

«Ничто не бросает такого яркого света на слабость коммунизма, как инцидент с Пастернаком и его на-

граждением Нобелевской премией. Пастернак верит в ценность человеческой личности, и в то, что личность надо уважать. Он пострадает за эту веру. Возможно, даже, что он жизнь свою положит за это. Но книга его сможет открыть глаза многих тысяч на жестокую, тираническую сущность коммунизма . . .»

Газета «Наньянь Сянь Бао», выходящая на китайском языке:

«Тот факт, что советская власть не может допустить выхода крупного литературного произведения, является не только личной трагедией Пастернака, но и всей нашей эпохи».

Пакистан

Газета «Таймс оф Карачи»:

«Лишив Пастернака возможности получить Нобелевскую премию, советское правительство помешало ему лишь формально стать нобелевским лауреатом. Писатель сохраняет весь свой престиж и его произведение продолжают быть ценнейшим вкладом в мировую литературу и в ту сферу человеческого знания, которой особенно боятся тираны и те, кто стремится закрепостить человеческое мышление . . . На фоне презренного поступка с Пастернаком широко разрекламированный Ташкентский съезд писателей стран Азии и Африки выглядит совершенным фарсом . . .»

Газета «Науа-и-Уакт», выходящая в Лагоре на языке урду:

«Если еще существуют заблуждающиеся интеллигенты, думающие, что свободное общество может существовать при коммунизме, пусть случай с Пастернаком послужит для них уроком. Этому писателю не позволили принять общепризнанное международное отличие . . .»

Япония

Газета «Майничи Шимбун», Токио:

«Не может быть и спора о том, какое искуство выше: то ли, которое служит только государству, или то, которое обращается ко всему человечеству. Даже если награда была отклонена, это не меняет факта награждения, факта всеобщего признания. «Доктор Живаго» несомненно является высоким произведением искусства, которое привлечет к себе множество читателей. Репрессивные меры, предпринятые советским правительством против автора, еще больше поднимут репутацию его произведения».

Африка: Марокко

Газета «Аль Алам», орган партии Истиклал, Рабат:

«Под давлением советского правительства и писательских кругов, Пастернак вынужден был отказаться от награды, присужденной ему Стокгольмской Академией. В чем тут смысл? Смысл в том, что советское правительство стремится подчинить мысль заранее установленным формам, хочет заставить мысль служить заранее определенным целям, заставить ее не видеть фактов, которые не соответствуют этим формам и целям. Мы это называем искажением и порабощением мысли, закрепощением человеческого духа и интеллекта . . .»

ОТКЛИКИ РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Русская зарубежная пресса широко откликнулась на присуждение Борису Пастернаку Нобелевской премии и на его травлю правящими кругами у нас на родине. Газеты, журналы печатали по этому поводу статьи и сообщения; ряд изданий поместил и продолжает помещать стихи Пастернака, его рассказы, отрывки из «Доктора Живаго» и из других произведений.

Отношение русской зарубежной литературной общественности к творчеству Бориса Пастернака и к травле его можно видеть из нескольких выступлений, которые мы помещаем ниже. Мы приводим в этой брошюре: выступление по радио старейшего русского писателя, одного из немногих оставшихся представителей «серебряного века» Бориса Константиновича Зайцева, и его передовую статью в парижской газете «Русская мысль» — «Изгнание». Затем — «Открытое письмо советским писателям» зарубежного литературоведа Марка Слонима (напечатаное в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк); статью представителя русской послевоенной зарубежной литературы Г. Андреева «Еще одна Голгофа» (из журнала «Свобода», издательство ЦОПЭ) и телеграмму, отправленную им и тоже послевоенным русским писателем А. Кашиным в Москву председателю Верховного Совета СССР.

Борис Зайцев

Пастернака помню еще в Москве 1921 года. Большой, нескладный, несколько угловатый, с крупными чертами лица. Не весьма они правильны, но мужественны, слегка даже грубоваты — оставили в памяти хороший след: простоты, подлинности, чего-то располагающего к себе.

В стихах его тогдашних никакой простоты не было. Напротив, скорее хаос. Наворочены глыбы, а что с ними делать — и сам автор, может, не знает. Но все это рождено стихией, подспудным, не всегда находящим выражение. Отсюда некое косноязычие.

Сам он мне нравился как раз нескладностью своею и «лица необщим выраженьем». Держался скромно. Принадлежал к более левому крылу писателей тогдашних, типа Маяковского. Но ко мне приходил. При большой разнице возрастов некие точки соприкосновения были. Касались они прозы, а не стихов.

Он приносил кое-что из своих писаний, в рукописи. Про Урал, воспоминания детства на заводе — очень интересная проза, ни на кого не похожая, но совсем не заумная. Крупнозернистая и шершавая, и сам почерк ее широкий.

Повидимому, это были главы из «Детства Люверс» — книга вышла в России много позже, я ее не читал и даже никогда не видел.

Годы же шли. Ничего я о нем не знал здесь, в эмиграции, то-есть что он там пишет «для себя». Для заработка — переводы, это я читал. Из Шекспира, отлично по русски выходит, видно, что писал художник. И от прежнего косноязычия — ничего. После войны кое-что стало появляться: стихи, перепечатывались и здесь. Совсем не то, что писал раньше. Конечно, это Пастернак. Но манера другая, хотя широкий, внутренний почерк и остался. Развитие классическое: буря и натиск молодости, с годами большее спокойствие и равновесие. Из

раннего хаоса, часто невнятного, выходит более ясное, однако, вполне своеобразное.

Но главное то оказалось — роман, обошедший теперь весь мир «Доктор Живаго». В нем тоже есть и стихи, эти стихи просто замечательны, стихи на евангельские темы, из советской России. И с великим благоговением к Евангелию и Христу! Возглашено зычным голосом, трубным. Или колокольный звон, но умиляющий (по глубине чувства, внутренней взволнованности автора). Мы давно такого не слышали.

Роман по-русски я только что получил, успел прочесть несколько десятков страниц. Впечатление хорошее. Ни на кого не похоже. Иностранцам некоторым кажется, что «в русле Толстого». Не правда. Прием свой, силами изобразительными с Толстым никто меряться не может, о сравнениях говорить нечего, но наверно роман выдающийся.

Получил Нобелевскую премию. Вот это отлично. Пастернака приветствую сердечно, рад, что русское свободное художество получает мировое признание. Так и надо, так и надо.

ИЗГНАНИЕ

Чашу с темным вином
Подала мне богиня печали.

Бунин

Если не ошибаюсь, Союз Писателей в Москве помещается в том же доме Герцена, на Тверском бульваре (недалеко от памятника Пушкину), что и в 1921-22 годах. Айхенвальд и Бердяев, Осоргин, Шпетт, Эфрос, все мы там заседали в Правлении, иногда устраивали литературные вечера. Революция была уже победоносной, но нас еще не прижали. Удивительно это было. Айхенвальд прочел, например, нечто о Гумилеве, весь-

ма похвальное, как бы надгробное слово по недавно расстрелянном поэте. Троцкий отозвался статьей: «Диктатура, где твой хлыст?» — и ничего ни Союзу, ни Айхенвальду не было. Времена, значит, еще младенческие. А позже Троцкий и Каменев устроили высылку заграницу всей этой группы писателей и ученых (1921 г.) — великое благодеяние для них.

Теперь много, наверно, изменилось даже во внешности дома Герцена, где некогда принимали мы полуживого Блока. Но может быть тот бюст Пушкина, что подарила мне Марина Цветаева (мы прятали в его пустоту советские деньги, почти ничего не стоившие), может быть этот бюст, отданный мной Союзу, и посейчас стоит на книжном шкафу, с белых своих высот наблюдая за заседаниями Правления.

Если это так, то за последние дни гипсовый Пушкин не без изумления выслушал, как «единогласно» исключили из Союза Бориса Пастернака. Повод удивительнейший. Получил Нобелевскую премию. А Союз (не Россия!) преспокойно выгоняет его за это на улицу. Печать советская называет деяния Пастернака позором, бесчестием, его самого Иудой, и что его ждет еще впереди, неизвестно. Что же: остался в России, испил с ней до конца чашу, сам не присоединялся к требованиям «смертной казни» для других, в горькой жизни написал отличную и глубокую книгу — своего «Доктора Живаго», а теперь над ним самим занесен меч и неведомо, чем все это кончится для него.

До Нобелевской премии его терпели. А теперь оказывается, что он чуть ли не враг народа — изгнан, изгнан . . .

Если моего Пушкина нет сейчас в Союзе, то другой, задумчивый, с памятника на Тверском бульваре смотрит на этот «Союз», на «единогласие» каменным взглядом:

«Поэт, не дорожи любовию народной . . .
«Ты царь: живи один. Дорогою свободной
«Иди, куда влечет тебя свободный ум».

Во времена Пушкина это было значительно легче. Но вряд ли сейчас каменный взор изображает нечто иное, чем глубокое презрение.

Бор. Зайцев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ

То, что я хочу сказать советским писателям — не личное мнение эмигрантского критика, а выражение чувств и мыслей, волнующих тех, кого в СССР называют «прогрессивной интеллигенцией» Европы и Америки. Московская печать вряд ли сообщает о впечатлении, произведенном «делом Пастернака» на эту интеллигенцию, и я думаю, что советским писателям следовало бы знать об этом неприкрашенную правду. А правда эта очень проста: травля Пастернака — отвратительное зрелище, вызвавшее резко-отрицательную реакцию и глубоко возмутившее даже самых испытанных друзей Советского Союза. Свистопляска, поднятая вокруг автора «Сестра моя жизнь» и переводчика Шекспира и Гете, причинила непоправимый вред культурному сближению России и Запада.

Пастернак написал роман-хронику «Доктор Живаго», советская цензура не допустила его печатания в России, и автор разрешил его перевод на иностранные языки. «Доктор Живаго» вышел по-итальянски больше года тому назад и вызвал оживленный отклик в журналах и газетах всего мира. Но о нем никто ни слова не сказал тогда в советской прессе. Роман был переведен на другие европейские языки и нашел миллионы читателей в десятках стран. Советская печать умолчала и об этом. Пастернак получил Нобелевскую премию — международное признание его выдающихся заслуг перед русской поэзией и прозой. И в ответ на это торжество русской литературы советские организации вылили на лауреата ушаты грязи и ругательств, называя его

«свиньей» и «предателем», и подвергли его всенародному заушению.

На Пастернака напали со слепой злобой, напоминающей худшие сцены средневековья, ту охоту за человеком во времена инквизиции, которая кончалась сжиганием на костре при вое невежественной толпы. Все эти многолюдные собрания, все эти гневные резолюции, все это массовое планово-организованное «ату его!», вся эта официальная мобилизация поддельного негодования и лживой пропаганды, поражают несоответствием средств и цели нападения. С одной стороны — весь могущественный аппарат государства, все молоты и молнии, все запреты и принуждения партии — а, с другой, старый одинокий человек, далекий от поднятой вокруг него бури, слушающий в молчании деревенского отшельничества голоса природы и поэзии. Я не сравниваю Пастернака с Толстым, но история повторяется, и нынешняя попытка отлучить автора «Доктора Живаго» от родной земли и литературы невольно вызывает в памяти борьбу царской власти и официальной Церкви против создателя «Воскресения».

Когда роман Пастернака вышел на иностранных языках, коммунистическая печать разных стран спокойно обсуждала его, оценивала его художественные достоинства, спорила об отдельных его местах, но не проявляла никакой страсти и волнения и ни в чем его не обвиняла. Но едва Пастернаку присудили Нобелевскую премию, как, по взмаху дирижерской палочки, в России разразилось громогласие анафемы и взрывы псевдо-народного гнева.

Сотни людей — писателей, критиков, драматургов, актеров, артистов, музыкантов принимают, конечно, единогласно, и подписывают, конечно, единоручно, всевозможные резолюции против «изменника». Они не читали его романа, они не могли его читать, потому что им это запрещено, и он не был напечатан в России, а это значит, что они осудили Пастернака вслепую, по

оговору, на веру, не на основании известных им фактов и проверенного материала, и не по-совести, а по «слову и делу» «выше стоящих». Они не спросили себя: а может быть то, что Пастернак написал, выражает страдания и думы целого поколения, тех самых ста пятидесяти миллионов советского народа, которые не принадлежат к правящему классу и его окружению, и лишены возможности свободного высказывания даже в литературе?

Нет никакого сомнения, что партийные руководители знали, что делали, когда науськивали на Пастернака своих подчиненных: они видели в нем идейного врага, и кроме того, хотели использовать кампанию против него для лучшей подготовки к предстоящему третьему съезду писателей, на котором предполагается дать окончательный бой всем строптивым, неуживчивым и беспокойным элементам. Но что сказать о тех, кто не принадлежит, как Сурковы и Кочетовы, к партийной администрации? Они оказались жертвой обычной правительственной инсценировки, того представления, в котором актеры изображают негодование и злобу, совершенно не испытывая этих чувств. Я не могу допустить, чтобы писатели, имена которых нам хорошо известны, потому что никто нам здесь не запрещает читать их произведения, вдруг разом сошли с ума и действительно поверили в то, что написано в резолюциях, требующих гражданской казни одного из самых глубоких и ярких представителей родной литературы. Неужели они не понимают, какой ложью и кощунством должны были прозвучать для всех честных людей эти слова об исключении Пастернака из Союза писателей и Союза переводчиков. Звание писателя не дается приказом по службе, и никто не может отнять его ни при жизни, ни после смерти, ни пожизненно, ни посмертно, у того, кто приобрел его своим талантом и своими творениями.

Я понимаю, что нельзя требовать от советских писателей подвига деяния, но я ожидал от них, по крайней мере, подвига молчания. Мы прекрасно знаем, в каких условиях им приходится жить и работать, и как страшен нажим того, что смягченно зовется «контролем партии», но я все же надеялся, что краска стыда выступит на щеках у современников Пастернака и они не присоединят своего голоса к улюлюканью по команде.

Если бы сейчас можно было произвести свободный опрос, например, среди советских поэтов, многие из которых, начиная со Сталинского лауреата Тихонова, ученики Пастернака, они бы, наверное, согласились с оценкой Шведской Академии, присудившей премию, как это сказано в ее резолюции, «замечательному лирическому поэту и прозаику». На Западе открыто, громко сказали то, что в душе должны признать правильным все советские писатели, сохранившие втайне хотя бы отсвет духовной и художественной независимости. И пусть по наущению тех, кто знает, что говорит, сотни представителей советской интеллигенции обязаны кричать «распни его!» — я уверен, что они в душе страдают и стыдятся своих выступлений. Они знают, что речь идет не о романе Пастеранка, которого, повторяю, не читали ни судьи, ни свидетели обвинения, ни коммунистические критики, — и не о его поступках, ибо он ничего не сделал, и никто не спрашивает, в чем он виноват; Пастернака попросту пригвождают к позорному столбу, чтобы другим неповадно было и чтобы у колеблющихся не появились крамольные мысли.

Вот эта ложь, это лицемерие и вызывают чувство брезгливости и отвращения на Западе и в Америке — у людей самых различных убеждений, от прокоммуниста шведа Лундквиста, только что получившего сталинскую премию, до тех самых французских, итальянских, английских и американских писателей, которых в Советском Союзе хвалят и переводят, как «прогрессивных защитников мира и демократии». И об этом

обязаны знать советские писатели, если их интересует правда, а не пропагандные фальшивки и организованная клевета.

1 ноября 1958 г. **Марк Слоним.**

ЕЩЕ ОДНА ГОЛГОФА

Награждение Бориса Пастернака Нобелевской премией «мудрые из мудрых» ухитрились превратить во вселенский политический скандал. К тому, что творится сейчас на линии Кремль — дача Пастернака в Переделкино, приковано внимание министров и членов парламентов, ученых и писателей, журналистов и простого люда. Миллионы льнут к радиоприемникам: что с Пастернаком?

По эфиру донеслось: его исключили из Союза писателей и «лишили звания советского писателя». Весть зловещая: могут последовать «оргвыводы». И последняя весть: Пастернак вынужден отказаться от премии.

Отказ мало что меняет: что произошло, то произошло. Но что же все-таки случилось с Пастернаком?

До сих пор многие даже официальные лица в Советском Союзе считали его большим писателем. Теперь заявляется, что стихов Пастернака заграницей не знают, что премия ему дана по политическим мотивам, за роман «Доктор Живаго» и что Пастернак вообще так, заурядный писатель, к тому же и «злобный обыватель». Но роман «Доктор Живаго» на верхах в Советском Союзе был известен уже несколько лет, заграницей он вышел еще в прошлом году, — почему же Пастернака только теперь назвали «предателем» и подвергли травле? Потому, что ему присудили премию? Но не он же присудил ее сам себе!

Выходит так: не творчество Пастернака и не его поведение, а именно присуждение ему Нобелевской премии вызвало у власть имущих такую ярость, что

они потеряли и равновесие, и соображение. Шведская Академия три года назад дала премию Нобеля почти безвестному исландскому писателю-коммунисту, в прошлом году премию дали советскому ученому, в этом — еще трем советским физикам и в Москве уже ликуют по этому поводу, — как же в трезвом уме назовешь это Академию «лакеем буржуазии»?

Глупо было выпускать из подворотни и такую борзую, как Заславский. Его даже Ленин, весьма неразборчивый по части морали, называл продажной душонкой и попросту мерзавцем. Какое может быть сравнение! Шавка остается шавкой, а человек человеком. И зловоние мерзавца ни в коей мере не может коснуться ведомого к распятию.

Это не преувеличение. То, что делают с Пастернаком — еще одна Голгофа в ряду бесчисленных больших и малых Голгоф, пережитых нами за сорок один год. Еще одно распятие безвинно отвечающего за грехи истязателей.

Что у Пастернака нет вины «перед народом», перед людьми, имеющими право носить это звание, доказывать нечего. У него нет ни одной строчки против людей, против человека. В плане политическом — у него нет отрицания революции. Он приемлет все — и по-человечески отвергает зло, не бороться с которым могут только сами носители зла.

Понятно, тут и открывается ларчик. Но все же: ведь зло, без меры насажденное у нас, видят многие. Те же «ревизионисты» как-то пытаются бороться с ним. Больше того: сам Хрущев вынужден был обещать недопущение зла. Почему же именно на Пастернака обрушилась такая звериная ярость?

В романе «Доктор Живаго» нет «политики», нет и политиканства. Весь роман, от первой страницы до последней, проникнут духом человечности. Это прежде всего — «человеческий роман». Этим он продолжает

традиции нашей литературы — дело Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. Поэтому же он целиком выпадает из так называемой «советской литературы»: в ней допускается только подделка под человечность или она проскальзывает туда лишь случайно, по неумышленному или умышленному недосмотру редакторов.

Пастернак не отрицает революцию. Как может отрицать ее поэт, написавший «1905 год», «Лейтенанта Шмидта»? Он признает многое, что она принесла с собой и что можно было бы назвать естественным следствием революции. Кто же будет отрицать очевидность, то, над чем старались поколения, что принесено временем? Вместе с Пастернаком эти следствия революции приемлют миллионы людей у нас, приемлем все мы. Но ненужное зло, проявившееся в революции, и зло, насильно и искуственно насажденное в ее ходе — этого зла люди принять не могут. Чтобы принять, надо перестать быть человеком. И Пастернак отрицает это зло так же, как отрицают его у нас миллионы людей.

Это все и объясняет. Отношение власть имущих к награждению Пастернака потрясающе безобразно, оно отвратно до тошноты. Многие ждали, что они поступят если не умнее, то хитрее. Нет, не сумели. Потому, что тут они встретились с абсолютно непереносимой для них стихией: не с политикой, а с человечностью. Они могут ее давить, могут ею спекулировать — справиться с нею они не могут. И они впали в панику, потеряли нервы.

Они, наверно, надеялись, что премию дадут им, одному из их среды; они надеялись, что их лживый «соцреализм» получит этим признание со стороны «презренной буржуазии»: ненавидя свободные страны, они настойчиво добиваются их признания. Надежды не оправдались. Какие соображения были у Шведской Академии, не знаем, но премию она присудила не им.

Этим она лишила их и надежд, и рассудка — и они снова показали себя без прикрас.

Вероятно, им уже не до того, чтобы делать хорошую мину: игра слишком ясна и им надо во что бы то ни стало, любой ценой собрать вокруг себя свой «актив». Силы не равны, катясь дальше, ком может нарастать — надо бить, пока не поздно, пока можно, надо спасать себя, свою власть!

И они спустили свору. Тихоновы, полевые, михалковы, твардовские вкупе с семичастными ринулись на жертву. Кивнули мерзавцу: оболгать еще раз! Дать «установку активу»: лгать по писанному, одобренному нами! . . История известная, кого ею теперь удивишь?

Полвека слишком назад Чехов, Короленко протестовали против решения Николая II не пускать Горького в число академиков. Это были русские писатели. Советские писатели, в плену у политики, поступают иначе: они травят своего собрата.

И этим не удивишь. Пушкин сказал: «Гений и злодейство две вещи не совместные». А талант и злодейство совмещаются куда как часто!

Что же будет с Пастернаком? Не знаем. Но знаем, что в верности ему людей он может не сомневатся. Он не один, с ним много.

Недавно рассказывали такую историю. Дело было год-два назад в церкви одного из наших городов. После службы на средину вышел высокий статный старик, с длинной белой бородой, с шапкой в руке. Без всякой патетики он сказал:

— Братья и сестры, я был в концлагере восемнадцать лет и только что вернулся. У меня ничего нет. Кто может, помогите мне.

Через минуту шапка была полна с верхом. И не мелочью. Никто не положил ему камня.

Никто из людей не протянет Пастернаку камня. Он получит то, что сеял и заслужил: признание, любовь.

30. 10. 58. **Г. Андреев**

Из Мюнхена, Западная Германия, 4 ноября 1958 г. была отправлена следующая телеграмма:

МОСКВА КРЕМЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
К. ВОРОШИЛОВУ.

Постыдная травля писателя Бориса Пастернака достигла апогея. Многие советские писатели и «представители советской общественности» называют его предателем, клеветником и требуют лишения подданства Советского Союза. В последнем заявлении ТАСС эти клички подтверждаются от имени правительства и говорится, что Пастернак в любое время может покинуть свою страну. Это практически ставит Бориса Пастернака в Советском Союзе вне закона.

Там, где все выступления находятся под контролем компартии, русские люди лишены возможности протестовать против такой травли. Поэтому с протестом выступаем мы. Пастернак никого не убивал и не совершал никаких преступлений, которые ставили бы его вне закона. Выраженные им в своих произведениях мнения — это его личные, частные мнения, за которые никто не может лишать человека гражданских и человеческих прав.

Вы, как хотя бы номинальный глава государства, несете ответственность за сохранение этих прав. Вы обязаны пресекать произвол правительства и Вашей общественности, попирающих права человека и гражданина, тем более зная, что отнять у человека способность по-своему мыслить Вы все равно не в состоянии.

Мы требуем прекращения травли Пастернака. Одновременно мы обращаемся ко всей общественности мира, ко всем людям без различия их политических убеждений, к антикоммунистам, коммунистам и нейтральным: требуйте прекращения травли! Требуйте, чтобы Па-

стернаку была дана возможность спокойно жить и работать! Не превращать писателя в мишень для ненависти к свободной мысли и слову!

Русские писатели **Геннадий Андреев, Александр Кашин.**

Этот русский текст был передан в Москву, как фототелеграмма.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ПО МЫСЛИ АВТОРА, ЧАСТЬ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО».

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я, один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.

Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтыри.

Еще кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем

Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как-будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем воскресенья.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Мне далекое время мерещится,
Дом на Стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоем подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже.

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,

Как раскинувшийся панорамою
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой,
Соловьи славославьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится,
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоновые и вишенные
Одеваются цветом белесым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, видавшей так много.

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой
И звону шлепавших подков

Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять всё безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разберешь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышится
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но попрежнему парит.
И попрежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.

Наши плечи покрыты плащем,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник,
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Всё сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда всё пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

СВАДЬБА

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел акордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег, бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками,

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песя, только сон,
Только голубь сизый.

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязаность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

СКАЗКА

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину
И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву,
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попоить к ручью.

У ручья пещера,
Пред пещерой — брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.

И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.

И тогда оврагом,
Вздрогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.

И увидел конный,
И приник к копью,
Голову дракона,
Хвост и чешую.

Пламенем из зева
Рассевал он свет,
В три кольца вкруг девы
Обмотав хребет.

Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У ее плеча.

Той страны обычай
Пленницу-красу

Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.

Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.

Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял на перевес.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный.
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То, в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Силятся очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшанник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Всё мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,

Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может,
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Всё выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Как будто бы железом
Обмокнутым в сурьму
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт.
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галлерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда

Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Толпились погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву
Как гостья, смотрела звезда рождества.

РАССВЕТ

Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я всё готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев
И чтобы во-время поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

ЧУДО

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, споримей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился он в мысли свои,
Что поле в унынье запахло полынью.

Всё стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Всё перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!

Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу,
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки

С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица за панибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья,
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,

Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни всё грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толкались в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шопоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал . . .

МАГДАЛИНА

I

Чуть ночь, мой демон тут как **тут,**
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но раньше, чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,

Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех
И смерть и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Сраслась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Иисус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.

МАГДАЛИНА

II

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи,
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила. Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.

Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.

Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертною истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час сына человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

ZOPE, München 2, Gaiglstraße 25, Tel. 55 74 85
ZOPE, Berlin W 30, Martin-Luther-Straße 88, Tel 24 77 80
Deutschland